

На заседаниях Президентского совета по культуре и искусству всегда с особым вниманием слушают то, о чём говорит член редколлегия журнала «День и ночь», известный литературный критик Валентин Курбатов.

Из прессы

Мы идём по шпалам с академиком. Михаил Пореченков из отечественного боевика «Ликвидация» тут ни при чём. Да и Одесса, где было-сплыло то сериальное дело. «Вставайте, подымайтесь, псковичи!» А это уже набат от Ивана Бунина. И если Одесса — мама, а Ростов-на-Дону — папа, то Псков (слышите вспорх сторожевой птицы?) — не пращур ли? И, коли Псков — пращур, тогда и спутник мой больше чем академик.

Представляя Академию современной российской словесности, он к тому же (устанешь перечислять!) член Президентского совета по культуре и искусству, Общественной палаты Союзного государства, правления Союза писателей России, лауреат Патриаршей литературной премии, член жюри общероссийской премии «Ясная Поляна» и прочая, прочая, прочая. Прибавьте сюда близкую дружбу с классиками русской литературы — Виктором Петровичем Астафьевым и Валентином Григорьевичем Распутиным.

А ещё он писал о Данте. С этой целью отправился в ту самую янтарно затвердевшую в истории Верону. В общем, на протяжении всей своей жизни — туда и обратно — переплывает реку Великую, днём и ночью бьющую челом кряжистым стенам Псковского кремля. Я отчествовал академику шаржированным экспромтом:

Надев сурьёзные очки,
Курбатов пишет дневнички,
курчавые по тону.

Услышит глас из вышних сфер:
— Ну как, опять Овсянка, сэр?
И пишет про Верону.

Шпалы ведут через Вильвенский мост. За мостом — две уральских речки: Вильва и Усьва. Их стрелка. Да и наша. А кроме того — стрелка с Виктором Петровичем. Не верите? Извольте: «...косогор уходил прямо в речку Усьву, за которой широко и медленно отцветала вечерняя заря...» Судя

по всему, именно здесь будущей классик учинил первую стрелку с Вечностью, о чём свидетельствуют местные предания и астафьевский рассказ «Гемофилия», вошедший в антологию «Шедевры русской литературы XX века».

Что касемо речек, то в иную пору, при той самой паводковой «гемофилии», они могут взбегать с двух сторон прямо к железнодорожной насыпи. С одной стороны — карий, мутноватый зрак Вильвы, с другой — отливающее синевой око Усьвы. Весенний гнев, сведённый к переносью. То бишь обе речки норовят подтвердить, что каждая из них — Великая. Но сейчас покой. На воде и на земле. Да и на путях наших.

Мы движемся под незримыми арками, казалось бы, несоединимых запахов — цветущего разнотравья и нагретого креозота. Академик примечает, что между шпал вольготно взнялись деревца — осинки, берёзки...

Я вспоминаю строки любимого и мной, и академиком поэта Игоря Шкляревского:

И золотые на закате
стоят недолго поезда...

Зарастает малая родина. И можно совершенно спокойно, без риска и оглядки, встать на рельсы и важно обменяться посреди моста рукопожатием, как два её непутёвых сына. Хотя непутёвость Курбатова — под вопросом. Он же, ко всему прочему, почётный гражданин Чусового. Однако давно живущий во Пскове. А сюда, в Чусовой, Валентин Яковлевич время от времени наведывается: тянет стрелка детства и юности.

Мы спускаемся с насыпи к Усьве. Остановившись на заветном, оплетённом ивняком мыске, где когда-то ваш покорный слуга лавливал окуней и щук. Академик извлекает из планшетной сумки нашу nonешнюю астроложию — коньяк — и какую-то запивку, только что приобретённые в магазинчике на улице Революционной. Мы оба — с этой улицы. «И выбегают из углов угланы». Думаете, они выбежали из лабиринтов Мандельштама? Или и по сей день на тех улочках?

— Старики любят пить сладкую воду, — в духе латиноамериканских писателей трактует явление запивки один из самых известных в России литературных критиков.

Крылатых выражений у него — как смешанных товаров в том магазинчике. Недаром Шкляревский зарифмовал: «крылатому — Курбатову». И наделил академика пермским звериным стилем: «Волчьим нюхом обоняя слово, / ночью прилетает он из Пскова...» И дальше: «А крыло он прячет в рукаве». Крыло, очевидно, чьё-то. Артефакт очередной крупной добычи. Вон то — от латиноамериканцев, а это... Уж не от Виктора ли Петровича?..

— Труссы надо экономить! — подавая пример обжигающего аскетизма, напутствует академик перед нашим погружением в студёную Усьву.

А после урока «экономии» обретает прежний, чёрно-белый, подчёркнуто сдержанный вид — нечто среднее между одятием русского инока и польского ксёндза. И как последний штрих на пути возвращения к элегантности едва ли не полувековой выдержки — наверняка тоже у кого-то почерпнутая рекомендация перед фотографированием: — Проверить лохматость...

Так поступает он на съёмках передач с собственным участием на телеканале «Культура». Ибо культуру не пропьёшь. Она не токмо на берегу Усьвы, а и на заседаниях одноимённого Президентского совета — культура. Отчасти — стараниями нашего пловца, давно приносившегося к Великой. И так...

Заседание совета уже задевало дно победительными ногами, и соревнующиеся на приз президента именитые пловцы предвкушали, как, достигнув искомого берегового песочка, они сперва сообщат побалуется прохладным пивом с таранькой, а потом разойдутся восвояси, и тут голос главы государства объявил: «Валентин Яковлевич Курбатов!»

Дескать, вот вам, братцы, и пиво с таранькой.

«Мы сегодня собрались на заседание совета, полное название которого — Президентский совет по культуре и искусству. Следовательно, искусство к культуре не принадлежит, раз „и искусству“? — явил остроту абсолютного слуха Валентин Яковлевич. И продолжил: — Я вначале думал, что это оговорка или нечаянная небрежность, но, к сожалению, так: искусство — дитя сегодняшнего дня. Оно ясно слышит день, умеет точно схватывать и реагировать. Видите, как у Александра Калягина всё хорошо с театром! Как у Дениса Мацуева дивно с музыкой! Как на „Мосфильме“ у Карена Шахназарова благополучно с кинематографом! А культура — дама, к сожалению, долгоиграющая. Она привязана ко всему на свете. Она не рождается сегодня, а живёт — благодаря бесконечной прививке истории и предания. А мы взяли и, простите, Владимир Владимирович, бросили семьдесят лет советской истории собакам под хвост и пытаемся жить естественно! Но естественно жить у нас не получится, потому что эти семьдесят лет — это наши отцы и деды. А мы уже поделили их на

сидевших, когда они были правы, и не сидевших, которые заранее подлецы. Так не бывает...»

...Всплески рыб. Этих любопытствующих речных прорех по мере нашего разговора всё больше и больше. Точно, распознавая нас обоих, обитатели речки пытаются получше заглянуть в объёмное зеркало укромного затона.

Путина — в жюри!

Или — тренд, контент, селекция?

— Валентин Яковлевич, однажды именно на этом самом месте, где в прежние годы я часами мог взирать на текущую воду, ко мне пришла мысль, что теперешнему русскому человеку не хватает созерцания. А поскольку большинство из нас родилось под дамокловым мечом фразы о «созерцательном отношении к жизни», то мы, пожалуй, и ведать не ведали, что оно, то самое «созерцательное отношение», — не просто возможный вариант существования, но, по сути, основа его. Или я не прав?

— Я и сам за собой уже давно замечаю, что эта недостаточность созерцательности не убывает, хотя тайная тоска по ней остаётся. Но поскольку волею обстоятельств ввержен в поток сегодняшнего литературного безумия — и как член жюри «Ясной Поляны», а до этого — «Национального бестселлера» и премии Аполлона Григорьева, — принудительное чтение то и дело погружает далеко не в созерцательное состояние. Получается, что через словесное чужое пространство ты осваиваешь жизнь. В две тысячи восемнадцатом году издательства и журналы представили сто тридцать книг на соискание этой премии! Как-то в издательстве «Просвещение» нам предложили назвать сто книг, которые формируют человеческое сознание, в мировой литературе. За все века её существования. А здесь... сто тридцать за год! Я так и вижу, как, нахмутив брови, Лев Николаевич Толстой прочитает всё это количество, восхитится и скажет: «Вот куда, слава Богу, пошла матушка-литература! Сто тридцать лучших творений за год!»

И когда ты читаешь те книжки принудительно, исходишь ворчанием, изгневаясь весь, но одновременно вдруг видишь, что всё чаще литература начинает писать вот эту самую сегодняшнюю жизнь — суетную, разорённую, разъединённую, несмотря на всепроникающую мобильную связь, а на самом-то деле люди никогда не были так далеки друг от друга, как нынче.

Ко мне всё чаще и чаще приходит понимание: жизнь продолжает терять рассудок, а слово начинает вспоминать себя и тем самым выправлять жизнь, хоть немножко, через литературное преломление. Спасительная функция слова возвращается, и в то же время — на фоне этой спасительности — как-то особенно видишь распад

человеческого существования, внутреннее отделение одного от другого, всеобщее одиночество. Одиночество и созерцательность хороши, когда есть кому поведать, как они замечательны!

В позапрошлом году на заседании жюри я в присутствии прессы сказал о том, что хорошо бы нам включить в жюри премии «Ясная Поляна» Владимира Владимировича Путина.

— Как вы себе это представляете?

— Он берёт отпуск на полгода, становится членом жюри (единственная его обязанность, других нету) и заявляет всему государству по телевидению: «Соотечественники! Граждане! Друзья! Товарищи! Дамы и господа! Полгода уж будьте любезны, но как-нибудь потерпите, а я займусь освоением творений соискателей премии классика русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого, а уж после вернусь к исполнению своих обязанностей. И доложу вам о том, что я думаю по прочтении...»

— А дальше?..

— А дальше прочитал бы Владимир Владимирович вместе с нами все эти тексты и узнал бы Россию с такой стороны, с какой ни один губернатор (даже собравшиеся все вместе) не открыл бы ему страну, присутствующую в той прозе, — она преподаст такой срез одиночества, заброшенности и потерянности сегодняшнего человека, что, погрузившись и осознав всё это, ты, может, больше и не дерзнёшь возглавлять государство?!

— Дабы дерзнули другие? Намедни я стал невольным свидетелем, как изъясняются молодые, в общем-то, люди, которым от силы за тридцать. «Тренд», «контент». Это я ещё мог вытерпеть. Хотя бы как признаки неизбежного насаждения искусственного интеллекта... Но когда — в том же ряду — вылупилось словцо «селекция», на меня повеяло прямо-таки геббельсовским ароматом! Воротившись, я сказал: «Какое скучное поколение!» «Удручающее», как заметил Виктор Петрович Астафьев в своей последней поездке по Енисею. И ведь эти «удручающие», но зело подвижные ребяташки сейчас расставлены по местам — снизу доверху. Помните из Евтушенко — афоризм начала шестидесятых годов прошлого века? «Людей интересных в мире нет...»

— Их судьбы — как истории планет...»

— Кажется, «истории планет» отошли в историю! Потому что теперь вокруг — сплошняком «неинтересные люди!» Так называемый кадровый резерв. Евтушенко мне друг, но истина дороже! И ваш призыв к тому, чтобы наш президент почитал бы произведения соискателей премии «Ясная Поляна», я могу только приветствовать! Но,

сдаётся, потом ему придётся свой резерв срочно преобразовывать?..

— И не только — резерв. Слава Богу, мы действительно стоим перед последними вопросами. Наверное, всякий век уверен — и девятнадцатый, а может, и семнадцатый, — что наступили последние времена. Но что хочется сказать о нашем времени? Мы живём в некоем столичном пространстве. Мы все словно переехали: бросили деревню — деревню русского слова, русского созерцательного существования — и перебрались в город. В столичный, по возможности. И то, что вся Россия стала столичным пространством — по поведению, по надменности, по хватке, — это её несчастье. Мы должны вернуться в деревню... В самом высоком смысле этого понятия. Вон к Москве подъезжаешь — стоят пятидесятиэтажные дома, целые рощи их! В каждом — деревня незнакомых друг с другом людей. Это на самом деле — национальная трагедия. Вот эти огромные города-спутники, распростирающиеся только перед одной Москвою, — верный способ разобщения человека от человека.

Перчатка для компьютерных лишенцев

— «Оглянись, а — некому прочесть». Да простится мне самоцитата, но так начинается одно из моих стихотворений в прошлогоднем выпуске альманаха «День поэзии. XXI век». Укаждого свой счёт тех, на кого уже не «оглянуться». Если начать перечислять, боюсь, мой список будет слишком длинным, как и ваш. И наверняка наши списки во многом совпадут. Но вы не находите, что скоро уже будет некому оплакать тех, на кого можно было «оглянуться»?

— Я тоже когда-то написал в «Нашем современном» заметочку с названием «Ослепшие окна». То есть в родном Пскове, где у меня столько было товарищей, вечером, оглянувшись на окна, вдруг сокрушённо осознаёшь, что уже ни одно окно не горит для тебя. Да, горит для других. И слава Богу, что горит! Но для тебя — уже нет. С одной стороны, это лета наши, печальное свидетельство того, что уходят товарищи. А с другой... Почему для меня ослепли окна? Людей-то в самом деле полно, но ведь ушли те, кто был землёю. Самое трудное, что, к великому сожалению, ушла земля...

Вот я сейчас еду из Пскова — до самой почти Москвы никаких санкций, простите, России не надо! Нам прислали так называемый борщевик, победное растение. Так он километрами идёт вглубь и вширь. Вроде после Владимира чуть прерывается, но от Кирова и дальше до Перми — опять он! Но существует и нравственный борщевик, который ничем не выполоть, не вытравить. С одной стороны, мы — дети Интернета, бесстыдного, оголтелого, в котором всё больше людей, жадно ждущих какого-нибудь текста, чтобы тотчас наброситься

на него и рвать его в клочья, потому что иным способом человек подтвердить своего существования не может. Если не изорвёт он какое-нибудь достаточно внятное имя. Изорвать в клочья — самыми последними словами, подзаборными. Это «даёт» ощущение свободы и творческого полёта! Но с другой стороны — это иллюзия, потому что ничего оно не даёт. Нас обступили времена, когда человек уже не верит печатному слову, тем более — обесщеченному компьютерным переводом.

— Прямо-таки обесщеченному?

— Потому что в компьютере нельзя прочитать «Войну и мир» или «Преступление и наказание». Они не будут там подлинными. Самый простой пример: пусть молодой человек попробует написать девушке: «Возлюбленная моя!» В компьютере. Она не поверит. Кажется, захватано слово руками, обезличено тысячами кнопок. Цифра! Вроде бы высокое изобретение. Раньше говорили про фотографии: «Смотрите, какие лица замечательные на этих снимках!» А там какой-нибудь Сысой Псоич, купец первой гильдии. Стоит. Манефа его. Он опёрся на неё плечом или она — на него. Лица осмысленные, серьёзные, значимые. Куда сейчас делись? И даже кочерга ясно выглядывала у них из-за спины или — как его? — ухват, потому что выдержка была длинная. И Сысою Псоичу тогда говорили: «Сысой Псоич, не моргать две минуты! И вам, Манефа Петровна!» Они тарачились в объектив и думали: «Господи! Только бы не моргнуть!» Но они думали! Они жили во временном пространстве. Сегодня, когда фотография плоская, чик — и всё. Какое бы умное ни было у вас лицо, в нём нет длительности. Проваливается длительность человеческого лица. И в прозе то же самое. Всё чаще написанное в компьютере становится плоским. Из текста исчезают даль и глубина, полёт и ширина. Та самая созерцательность, о которой вы спросили.

— То есть вы напрямую хотите сказать, что работа с компьютером лишает человека, в данном случае — писателя, главного? Я правильно вас понял?

— Да, правильно. Работа с компьютером — самое опасное, что есть, наверное. Постепенно слово писателя, пользующегося компьютером, лишается глубины. Валентин Григорьевич Распутин сам писал и перепечатывал сам. Он вынужден был пользоваться пишущей машинкой, потому что никакая бы безумная машинистка не могла разобраться: у него с одной рукописной страницы выходило двенадцать машинописных!

— Вы понимаете, какую перчатку вы сейчас бросаете целому сонму представителей нынешнего писательского, да и журналистского цеха?!

— Бросаю! Потому что на самом деле только начертанное слово обладает всей заложённой в него полновесной силой. Почему я говорю про «возлюбленную мою»? Вот слово, ощупанное рукою, в коем оглажена каждая буква. Вместо этого — тычок пальцем в попытке начертать букву «а». Это разные движения. Разные звуки, разная полнота и глубина смысла в букве написанной и в букве, ткнутой пальцем. Не знаю, когда придёт вот это оплодотворение несчастной печатной клавиатурной буквы. И придёт ли?

— Но ведь наверняка же девяносто процентов из ста тридцати лучших произведений премии «Ясная Поляна» сотворены на компьютере?

— К сожалению, это видно сразу же.

— Тем не менее, вы утверждаете, что там есть нечто достойное внимания?

— Я всё же думаю, что те, кого я имею в виду, как ни странно, они всё-таки дописывают руками. Может быть, сознавая, что компьютер — лукавая игрушка. Потому что я всем уже криком кричу: «Ребята, бросьте, Христа ради!» Сделайте вызов веку, наконец. Кто-нибудь это должен сделать первым. Русская литература должна бросить вызов. И перевести это всё в рукописное русло. И когда человек напишет своё произведение от строчки до строчки рукою, даже если вначале на компьютере напечатает, а потом перепишет его от руки, он вдруг поймёт: какая чудовищная разница, зияющая между компьютерным текстом и тем, что он создал сейчас! Он начнёт править сразу же! И снова будет возвращаться глубина. Потом можно вернуться к компьютеру, пройдя какой-то новый, возрождающий писателя путь. Мы же, увы, пошли холопским путём, подхватив чужое, взяв его и быстро истощив себя на этом. А когда вырастет компьютер из твоего собственного сердца и ты начнёшь его чувствовать, как дитя, вот тогда действительно буквы наполнятся смыслом и перестанут быть дырявыми, как все буквы.

Нашествие жутких,
или «Дорогу поэту!»

— Но людей очень сложно возвращать к подлинному. Вот вы призываете президента прочитать произведения соискателей премии «Ясная Поляна». А как призвать миллионы наших читателей, чьё сознание уже скопобочено низкопробной литературой, особенно — полуграфоманским стихоплётством, типографски увековеченным? Как их вернуть к истинному? Вы же сами мне рассказывали, как среагировал Астафьев, когда с вашей помощью (вы тогда оказались у него в Красноярске) было вскрыто давно лежавшее на почте письмо из Чусового, посланное литературному земляку вашим покорным слугой вместе со стихами.

«Неужели там в саже поэты заводятся?!» — не то подивился, не то покуражился Виктор Петрович. И я никогда не забуду его фразу, которую я потом привёл на страницах журнала «Юность» в своём эссе «Столбовой переселенец»: «Да Боже меня упаси остаться в этом Чусовом! Ты же не заметишь, как погрузишься в трясины. Засосёт». Но про сажу Виктор Петрович не ради красного словца обмолвился. Сейчас здесь какая сажа, когда в Чусовом металлургический завод, который насчитывал едва ли не стопятидесятилетнюю историю, почти сдох? Зато сажа вкусов — толстым слоем. А всё потому, что из года в год из краевого центра на литературную родину Виктора Петровича приезжает одна и та же писательская «бражка». И поскольку устроители этих «заездов» — тоже одни и те же, то здесь уже, если применить язык эзотериков, сформировался почти непрошибаемый эгрегор... Проще говоря, выращена своя, аккуратно подстриженная аудитория с несокрушимыми представлениями: «Вот такими они и должны быть, властители дум!» Знаете, что сказал мне Астафьев по поводу этих «властителей», когда мы бродили с ним вдоль Енисея в Овсянке? Цитирую по диктофонной записи: «Жуткие они писатели!»

— Узнаю Виктора Петровича! Но, думаю, он погорячился...

— Хотя миновала четверть века, а как Астафьев клеймо своё поставил, так с той поры мало что изменилось.

— И всё же вы по своим выступлениям знаете: устное слово, оно сегодня как никогда ухватывается. Впивается человек тотчас же, вслушивается. И, вероятно, Юра, это общая наша вина, что мы не часто балуем свою литературную родину собственными встречами с читателями. Но вы же, насколько мне известно, привозили сюда на совместные выступления и Ларису Васильеву, и Бориса Черных, и Марину Саввиных, и Сергея Кузнечихина, и Михаила Тарковского?

— Каждый раз казалось, что привозил миссионеров — к язычику. Тот самый эгрегор, он ведь срабатывает! Разворачивает на привычное, на ожидаемое. На то, что осознанно или по недомыслию порождено теми самыми «жуткими», которые времени зря не теряли, а тут же замещали «миссионеров»...

— Всё равно, жуткие они или кроткие, однако слово остаётся последним оружием русского литератора любого жанра. Вы правы: миссионерское слово, то есть слово живое, ибо оно пока ещё не врёт.

— Тогда вот эпизод: похороны Евтушенко на перedelкинском кладбище. Стоим. Ждём. Не покривлю душой, если скажу, что рядом — немало

подлинных поэтов. Просто их лица не захватаны узнаванием. В конце концов, «быть знаменитым некрасиво». Но они пришли проститься со своим старшим собратом. И вдруг требовательный возглас старушки: «Дорогу поэту!» Оборачиваемся. Оказывается, прибыл Андрей Дементьев. Не хочу бросить камень в ушедшего, но...

— Не будем бросать камень. Он действительно представлял свою часть поколения. И представлял достойно. Старушка, кричащая: «Дорогу поэту!» — явно безумная, но она воспитана всё же не на худших образцах поэзии.

— Если учесть, что сегодня на полках книжных магазинов плечом к плечу с Пушкиным и Пастернаком — Лариса Рубальская и Илья Резник, тогда, конечно...

— То, что Андрей Дмитриевич в последнее время имел успех больший, чем прежде, это, может, как ни странно, оттого, что он чаще читал на публике, чаще выступал. Я это всё — к тому, как попытаться сегодня вернуть тягу людей к духовному. Через печатное слово вы не вернёте, потому что тот пёстрый хаос имён, как упомянутых вами, так и не названных, можно лицезреть в любом книжном магазине. Каждый кричит: «Я! Меня купите, меня!» Все соревнуются. Цветные обложки, одинаково бесстыдные. И от порядочных людей их уже не отличишь. Потому что одинаково одеты все.

А о том, как вернуть...

Иркутск после драки классиков

— Когда подступило семидесятилетие Валентина Григорьевича Распутина, выяснилось: он не хочет отмечать эту дату по скромности своего характера. В Петербурге насильственно отметили. В Москве отметили. А там, в Иркутске, нет. И мне звонит директор тамошнего театра: «Ради Бога, помогите!»

Я приезжаю в Иркутск. Мы едем, летим и плывём с Валентином Григорьевичем в его родную деревню Аталанка, и я всё думаю: «Как же, Господи, ситуацию-то спасти?» И вдруг в голову приходит простая мысль: оказывается, они с Александром Валентиновичем Вампиловым не только друзья, не только учились вместе в университете и начали знакомство с драки, потому что «чё-то там не так Саня сказал, как положено», ну и Валентин Григорьевич завёлся... Представить Валентина Григорьевича дерущимся с Александром Валентиновичем Вампиловым так, что их было не разнять?! Но они — ещё и одного года рождения.

И я вспомнил, что есть у Вампилова знаменитая пьеса «Прошлым летом в Чулимске». И говорю Вале: «Вот пьеса, в которой то, что тогда считалось злом, сегодня почти добродетель, — так переменились и ожесточились человеческие характеры. И давай мы соберём литераторов и назовём „Этим

летом в Иркутске“. А дальше—перечислим фамилии». Распутин: «Давай!»

Вроде как он тут ни при чём—это всё про других. Однако, естественно, когда мы собрались на первой нашей встрече, оказалось, что все, конечно, говорят про Валентина Григорьевича.

Я сначала думал: нагонят на эти вечера, как водится, школьников, студентов, войсковые части поднимут, чтоб зал был полон. Прихожу—в самом деле: никак не могу разобрать, из кого состоит зрительный зал...

Но как только ты сказал этому зрительному залу Иркутского академического театра имени Охлопкова, что мы, стоящие перед вами на сцене, и вы, сидящие в зале, так же беззащитны перед безумием мира, и если мы будем открыты в одинаковой любви друг другу и русскому слову, то, может быть, что-то сумеем повернуть... На следующий год на нас продавали билеты! До полутора тыщ рублей.

И зал был полон все последующие двенадцать лет. Только в прошлом году эти встречи остановились впервые, потому что после смерти Валентина Григорьевича оказалось, что этого нельзя. Но жадность, с которой человек слушает открытое слово!..

Вот почему сегодня, если представится любая возможность у поэта, ради Христа, говорю, идите сейчас же! И поэты, и прозаики. В библиотеки, куда угодно! И смотрите глаза в глаза, потому что человек уже не верит печатному слову...

Улица Революционная.

Будущая Евангельская?

— Нет ли в том заведомого противоречия? С одной стороны, вы утверждаете, что «только начертанное слово обладает всей заложенной в него полновесной силой», а с другой— что «человек уже не верит печатному слову», а предпочитает слово устное, живое, когда «глаза в глаза». Но я-то знаю: стоит перевести это устное слово в начертанный вариант, как не всё «устное и живое» выдержит испытание начертанностью... Поэтому мне любопытно: как другие-то доблестные представители критического цеха оценивают ваши парадоксы?

— Сегодня, видимо, время заговора литераторов, отчего известнейший наш критик Лев Александрович Аннинский глумился надо мной, просто хохотал, падая на живот и на спину, когда я обмолвился в одной из своих статей о том, что, может быть, зла не надо писать литературе. И Виктора Петровича Астафьева я всё корил за то, что вышло из-под его руки после «Печального детектива». Написал он его и даёт мне прочесть. По-моему, это был тысяча девятьсот восемьдесят третий год. Сейчас это называется роман нуар. У нас—чернуха, а на Западе— нуар, ночной роман, «восемнадцать плюс».

Я прочитал «Печальный детектив» и говорю Виктору Петровичу: «Что же вы делаете?! Вы же надругались над жизнью—она всё-таки милосердная: собираешься башку в петлю сунуть или застрелиться—обязательно в итоге девчонка засмеётся, солнышка луч упадёт, котёнок пододёрт, потрётся о штанину. Что-нибудь да случится, и через это Господь скажет: „Парень, ты куда разбежался? Пстой на мгновение!“ А у вас в „Печальном детективе“ котёнка нет, девчонка не смеётся, луч солнца в окно не падает. Что же делать-то?» — «Ничё,—отвечает.—Вот бабу найду (то бишь женский характер.—В. К.), она всё там озарит, в „Детективе“ этом».

Бабу не нашёл, потому что наступил тысяча девятьсот восемьдесят пятый год. Вместо бабу пришёл Ананьев, главред журнала «Октябрь». Цап рукопись первого русского романа нуар—и жадно напечатал. Я упрекнул Виктора Петровича: «Что же вы делаете?!» Он замолчал. Каменно.

— Но после «Печального детектива» у Астафьева были изданы и «Людочка», и роман «Прокляты и убиты», и...

— Вот почему нельзя писать зла! Андрей Битов укорял Фёдора Михайловича Достоевского: если бы тот не написал «Бесов», в России не было бы революции! Когда они в полуподвале убивают своего товарища и этому приданы такие блеск, глубина и совершенство, после чего любые подлещи заглядываются: «Как мы замечательны, талантливы и умны, какая за нами блистательная мысль стоит!» И разлился этот гнойник. До Октябрьской революции. Поэтому битовская мысль: «Нельзя!»

Сколько матом мы с Виктором Петровичем ругались, но повторяю: матом писать нельзя. Мат есть устное единственное эмоциональное состояние. Вот сегодня меня прижало, и я заорал! Но если написал об этом, оно тотчас же перестало быть единственным, подлинным.

Отчего его нельзя прочитать на заборе? Потому что словно тебя бритвой по глазам полоснули! Кирилл и Мефодий не написали азбуки для мата. Он возник в каком-то чужесловесном пространстве, почему так и ранит зрение. Писатель-фронтовик Евгений Иванович Носов присылает Астафьеву письмо на девятнадцати страницах: «Витечка, ты чего делаешь?! Толстой, написавший „Севастопольские рассказы“, он другую войну воевал, что ли? Однако, смотри, обошёлся как-то без мата. Мы с тобой одного звания, одну войну прошли... Слово не повернётся». Девятнадцать страниц! Мелким почерком.

— Вспоминаю своё гощение у Виктора Петровича в Овсянке. Это когда он работал над романом «Прокляты и убиты». Ну, разумеется, устная речь его была вся прошита теми самыми незабвенными

словечками... Я всегда говорил и говорю: «В его устах они как бирюзовые серёжки в невинных девичьих ушках». Я на своих друзьях проверял: ставлю аудиокассету со Жванецким и аудиокассету с Астафьевым. С Астафьевым увлекательнее!

— Это так органично и естественно! Но, увы, когда написано...

— А мне же нужно было наш разговор в журнале «Юность» опубликовать! И, сохранив всю «вкусноту» астафьевской речи, попытаться что-то в ней обойти. И я, помню, начал придумывать некие собственные неологизмы-заменители, но которые бы почти воспроизвели исходное. И об этом в телефонном разговоре с Астафьевым поделился. Он: «Ничё, час выйдет роман, вот там!..»

— ...там всё будет прямо! Никаких «блин». Как скажет, так скажет. Хотя, повторюсь, на самом деле прав Андрей Битов: зло нельзя умножать — оно станет тиражированным.

— Мы так, пожалуй, дойдём до того, что не будет улицы Революционной, на которой прошло моё и ваше угланское детство?

— Действительно, дойдём — вдруг станем, сохрани Бог, не угланами, а евангельскими детьми?

— Это спор не сегодняшнего дня. Не так давно мы на сходную тему общались с одним пролетарским поэтом. Редко когда по нынешним временам человек себя так представляет и соответственно мыслит и пишет. И договорились мы до того, что «вот наступит времечко, когда народное терпение закончится». При этом тычет указующим перстом в каменные палаты богачей. Я ему: «Не хотелось бы!» Он в ответ: «А придётся!» Поэтому, Валентин Яковлевич, желаем мы того или нет, но вектор времени движется в этом направлении, о чём, вообще-то, должны бы знать в вашем Президентском совете. И как бы мы ни призывали избегать в теперешней русской литературе «свинцовых мерзостей жизни», а улица-то Революционная ещё аукнется! И в жизни, и в литературе. Попомните моё слово. Зря, что ли, она до сих пор не переименована?

Наедине со словом в чистом поле

— Про зло, конечно, писать надо. И даже должно. Вот один из недавних авторов прочитанных мной книг на соискание «Ясной Поляны», печник из Петрозаводска, прошедший чеченскую войну, — Александр Бушковский. Он создал книжку такой жёсткости! Всегда же можно различить зло кокетливое, смотрящееся в специально поставленное зеркальце. А его «Праздник лишних орлов» написан с таким внутренним страданием, что ты начинаешь отчётливо понимать, что это за безумие. Здесь автор не смотрится в зеркальце,

а будто ставит его перед нами, подлецами. И тычет нас носом. И когда описание зла рождается изнутри, это видно сразу — что оно изнутри рождено. И пережито, и выстрадано, и читается иначе. Зло преобразуется, очищается в процессе твоего сострадания.

Но, к сожалению, пока эта литература ещё не побеждает. Не наступает преодолённого зла, себя перебогшего. И на дороге этой если что и спасёт нас, то само Слово. Мы можем истратить себя до последнего, износить, потерять — всё, что угодно. Но Слово милостью Господней всё-таки стоит над нами и говорит: «Ребята, вы продолжайте, а я за вас заступлюсь!»

— Однако, согласитесь, вот эти якобы порождённые злом художественные образцы запоминаются больше и прочнее:

Я люблю смотреть, как умирают дети
(Маяковский);

*Эти шеи — потные и толстые,
Как гадюки, скользкие, как вол,
Непреклонные, — рукой апостола
Савла — за стволом ловил я ствол...
(Нарбут);*

*Иуда взял бездарно — серебром,
Сбил цену на предательство людское.
И праведный над ним разверзся гром!
А взял бы золотом — хоть помер бы в покое!
(Влодов)*

И — так далее. Извините меня, но я это запомнил. И не только я...

Репей-трава прилипчива. Больное сердце сбивчиво.

Это уже из солоухинской «Травы»...

— Действительно, «прилипчива»! Полностью согласен с Владимиром Алексеевичем. Зло всегда обаятельнее, пленительнее. Зло настолько картинно и ослепительно! А добро всегда так, в сущности, жалко, так скучно и так невзрачно, кроме разве что совсем последнего — когда оно за други своя погибающее.

— Тогда — в связи с нарисованными вами противоположностями — я не могу не задать, может быть, не совсем удобный для вас вопрос. Неудобный — в том числе и как для лауреата Патриаршей литературной премии. Я когда смотрел, разумеется, по телевидению, на ныне почившего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, особенно — в зеркале впоследствии сменившей его фигуры, он всегда поражал своей какой-то внутренней кротостью, полным отсутствием картинности. А когда я наблюдаю и слушаю (опять-таки по ТВ) патриарха Кирилла, то ставлю себя на место других людей, ему внимающих, и, с одной стороны,

восхищаюсь его даром красноречия, который явно не наблюдался у Алексия, а с другой—спрашиваю себя: «Может быть, вот эта кротость и неумение себя подать, вот это полное отсутствие картинности были предпочтительнее?»

— Это правда. Как Валентин Григорьевич Распутин—последний русский писатель, последний в том старинном понимании земной связи-пуповины, так и патриарх Алексий Второй—последний в церковном существовании, от предания, от святых отцов. Но время востребовало патриарха Кирилла. Хотя я ждал, и все мы ждали (ну, мы же ребята умненькие!), что вот, наконец, придёт наш, такой же умненький, как мы. Жёсткий, хваткий, цепкий. И точно распределит все мировые пространства. Заговорит на нашем языке. Всё получилось. Кроме Духа и Силы.

— *«Не гнушайся, подвой со слезой про спасенье Руси / в строевом православье взамен строевого марксизма...» Это уже, как вы понимаете, в наши дни изречено. Можно сказать, у вас, Валентин Яковлевич, под боком, потому что автор этих строк—живший в Великих Луках и принявший там свою голгофу русский поэт Андрей Власов. И разве нынешнее «строевое православье», по Власову, не аукнется с церковным растлением тысяча девятьсот семнадцатого? Я всегда задаюсь вопросом: «А чего тогда православный люд на колокола да купола с крестами ополчился?»*

— Скажу больше. Церковь к тому времени предала саму себя. Это она была главной виновницей совершившегося столетие назад—в тысяча девятьсот семнадцатом и в последующие годы, когда весь народ от неё отступился. С чего бы? С того, что слишком обрядово! Она и сегодня входит в это же обрядовое пространство. Стала такой же обрядово привычной. Потому что не помышляет о собственном высоком, спасительном предназначении. Отбарабанила своё—и с колокольни долой! Не страдает, хотя должна страдать за то, что новомучеников поминают за каждой литургией... Но принимать жертву новомученичества?..

Новомученики заплатили за то, что они были помечены равнодушием накануне семнадцатого года. Играли в картишки под мостами, служили казачьи литургии для богатеньких, а потом расплагились чудовищной смертью и кровью, потому что Христос поругаем не бывает. А сегодня? И сегодня они все спокойные и сытенькие. Как же так, батюшки? И Кирилл—это первое свидетельство того, что патриарх не страдающий не может быть патриархом в России.

Я старый человек, живу уже давно на матушке-земле и понимаю, что русская история—это только проскомидия, которая переводится, как

«преуготовление». На самом деле, мы жили при тиранах, при деспотах, при коммунистах, при либералах. При ком только не жили! Но лишь сейчас начинаем осмысленно входить в историческое пространство и только сегодня входим в пространство преуготовления, когда впервые должны назвать каждое слово сначала. Поднять к свету, чтобы увидеть его—косточку в каждом этом слове: «добро», «справедливость», «милосердие», «женщина», «мужчина»... В каждом! Мы обесчестили, опозорили их тысячами употреблений. Износили всё в лоск! Вот каждое слово поднимем и скажем. И вот всё это—преуготовление, когда начнётся наше с вами правильное историческое земное и небесное существование. Мы впервые войдём в пространство слова! Слова как Небом данного. Мы использовали его просто механически. А сегодня, когда отрясли с него прах, сдули пылинки, мы поняли, что надо брать его в том евангельском смысле впервые...

Слово-то русское спасительно. Но мы пока ещё не слышим его во всей полноте и значимости. И только интервью Юрия Беликова будет когда-то в «Дне и ночи» напечатано, и там будет сказано, что нам сегодня выпало высочайшее счастье зваться русскими литераторами, эта мучительная ответственность, которая никому никогда не выпадала. И вдруг мы впервые в чистом поле оказались. Наедине со Словом. И с ужасом, смятением, восхищением вчитываемся в него и восклицаем: «Господи, благослови!» И начинаем каждое утро с молитвы вот этому самому Слову и—с подвига, чтоб назвать это самое Слово и дерзнуть зваться русскими литераторами. Никому ещё не выпадало такого счастья—ни французским, ни американским, даже латиноамериканским литераторам. То есть опять Россия оказывается на острие клина, и я стою на острие с этим русским словом, смотрю в светящуюся высь, откуда окликает меня Валентин Григорьевич Распутин: «Ну что, старик, посмеешь всё же завтра выйти и продолжить это своё существование?»

И если хватит отваги русскому литератору, то мы опять будем победительны, и пусть этот господин Трамп и все остальные заткнутся, ибо впереди всё равно окажется Русское Слово, потому что оно—самое последнее, испытательное... Отвечающее на вопрос: «Имеем ли мы право зваться людьми?» Кажется, от этого уже отказались все—американцы, французы, англичане, перейдя на логическое пространственное существование, и только русская литература ещё по-прежнему доглядывает до конца... До Слова Евангельского... И если задёрнет занавес Господь, то мы скажем: «Господи, мы слышали. И если уж не смогли исполнить, то уж прости нас, Христа ради!» И Он по милосердию простит. Аминь.

Анатолий Гребнев

Владимир Башунов

● ● ●
Валентину Курбатову

Да, друг мой, много было званых,
А избранных—скупая горсть.
В густых кладбищенских бурьянах,
Затухнув, столько улеглось!

Мешая нашим разговорам,
В зауспокойной тишине
Пророчит гибель хриплый ворон
Ещё живым—тебе и мне.

Но в светлой думе о России
Так в душу льётся синева,
Что нипочём
Его глухие,
Его картовые слова.

Мы помним всех, кого любили!
Спасибо Господу уже
За то, что мы не просто *были*—
Родными были по душе!

Светлан Семененко

● ● ●
Валентину Курбатову

Лёгкой дымкой означивши кроны,
две берёзки стоят не дыша.
Это облачком легко-зелёным
не листва пробудилась—душа.

Как люблю я таинственный, краткий
этот миг посредине весны,
когда смотрят деревья украдкой
и хотят одного—тишины.

Да продлится ночная прохлада,
да протянется тонкая нить!
На пороге грядущего ада,
Боже, дай им собою побыть.

И покуда душа не окрепла,
не укрылась за рёбра ветвей,
на пороге июньского пекла
огради их десницей своей.

Мальвы и золотой шар

Валентину Курбатову

Скромные мальвы да шар золотой
дремлют, склонившись к ограде,
мальвы да шар—золотой, не простой—
возле избы в палисаде.

Всё, что любовью овеяло нас,
детские дни осветило,
не выставляла душа напоказ,
но суеверно хранила.

Мальвы да шар золотой под окном
в лёгкой полуденной сини.
Вот набреду я нечаянным днём,
вот повстречаюсь я с ними.

Столько железа грохочет вокруг,
древнюю пыль поднимая,
поле, и рощу, и речку, и луг—
всё под себя подминая.

Столько железа!
Его не унять.

Как несмышлёные дети
смотрят цветы—и не могут понять,
что происходит на свете.

Много печали я жду от судьбы,
но не поддамся испугу,
только б стояли они у избы,
тесно прижавшись друг к другу.

Только бы знать,
обжигаясь огнём,
в громе железа и в дыме:
вот набреду я нечаянным днём,
вот повстречаюсь я с ними.